

Тептелкин и другие в романе Конст. Вагинова «Козлиная песнь»*

Н.И. Николаев

Аннотация: В таких героях романа Конст. Вагинова «Козлиная песнь» (Л., 1928) как Тептелкин и Философ, с одной стороны, достоверно воспроизводятся отдельные черты личности Л.В. Пумпянского и М.М. Бахтина, что позволяет считать этот роман важным источником для реконструкции деятельности Невельской школы философии в Ленинграде в середине 1920-х гг., а с другой стороны, эти герои ни в коей мере полностью не совпадают со своими прототипами. Это несовпадение обусловлено как особой поэтикой романа, так и его общей концепцией.

Ключевые слова: К. Вагинов, русская литература 1920-х годов, прототипы, Л.В. Пумпянский, М.М. Бахтин

Информация об авторе: Николай Иванович Николаев, главный библиотекарь отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки Санкт-Петербургского гос. университета; Санкт-Петербург. E-mail: n.nikolaew@spbu.ru

Памяти Всеволода Николаевича Петрова

Романы Конст. Вагинова вновь появились в сознании читающей публики только с конца 1960-х гг. вследствие двух обстоятельств: во-первых, с открытием творчества обэриутов, с которыми был близок Вагинов, а во-вторых, с открытием «группы Бахтина», среди участников которой он тоже был упомянут¹. Более того, тут же присоединилась устная легенда (заметим, хорошо известная еще первым читателям), что герои вагиновских романов имеют прототипы. Но было названо имя только одного из них — Л.В. Пумпян-

* Приносим благодарность за критические замечания, сделанные при обсуждении ранних вариантов статьи, Д.М. Бреслеру, С.И. Николаеву, Диме Петрову, А.И. Степанову, В.И. Эрлю.

¹ *Ревзина О.Г.* [Заседание Лингвистического объединения при Лаборатории вычислительной лингвистики МГУ, посвященное 75-летию со дня рождения М.М. Бахтина. Обзор] // Вопросы языкознания. 1971. № 2. С. 160–161. В докладе А.А. Дорогова «Идеи М.М. Бахтина в историко-культурном контексте».

ского, как прототипа Тептелкина в «Козлиной песни» и Куку в «Трудах и днях Свистонова»².

Однако насколько Пумпянский как прототип отразился в герое романа КП?

Оговоримся сразу. Действительно, прототипами героев романа КП Вагинова были представители Невельской школы — Пумпянский, Бахтин, их друзья и знакомые. Однако не будет бóльшей ошибки, чем считать, что прототипы совпадают с героями, то есть что Тептелкин это и есть Пумпянский; то же самое и относительно других персонажей. Но столь же неприемлема и другая крайность — полагать, что в Тептелкине соединены разные прототипы, и даже называть их имена.

В самом деле, КП вроде бы выглядит как роман с ключом, но имя все же здесь соотносится не с денотатом, а с референтом, то есть в отличие от других романов с ключом, где прототип пародировается, то есть изображается юмористически, сатирически, трагически; здесь реальные черты прототипов служат лишь элементами при построении героев романа, героев, находящихся в совершенно ином романном измерении. То есть, в отличие от романов с ключом, где предполагается, что данный герой и есть данный прототип, в КП Вагинов относительно каждого персонажа называет несколько абсолютно достоверных реалий (с разной лишь акцентировкой — вплоть до неузнаваемости) — почему роман и имеет в этих деталях характер исторического свидетельства, тем более ценного, что об этом периоде, например, в истории Невельской школы мы имеем самое приблизительное представление. А все остальное выстраивает в соответствии со своим художественным заданием. Об этом говорит и сам Вагинов в романе перед судом великих комических поэтов: что он вывел своих героев не смехом Гоголя и Ювенала, обличительным, он просто перенес их в жизнь³; то есть комический эффект от самой жизни.

В 1973 г. в беседах с В.Д. Дувакиным Бахтин, сказав, что Тептелкин это — Пумпянский, добавил, что Пумпянский был его другом и поэтому он прекрасно помнит, что было и одеяло, которым

² Кожин В., Конкин С. Михаил Михайлович Бахтин. Краткий очерк жизни и деятельности // Проблемы поэтики и истории литературы. Сб. ст. Саранск, 1973. С. 7. Причем в этом кратком очерке, в разделе, написанном В.В. Кожинным, названы только два романа Вагинова — «Козлиная песнь» (далее — КП) и «Труды и дни Свистонова» (далее — ТДС). О прототипе Куку Кожиннову было известно только со слов, скорее всего, М.М. Бахтина, поскольку самого романа он еще не видел и не читал, о чем говорит написание имени Куку через дефис: Ку-ку.

³ Вагинов К.К. Полн. собр. соч. в прозе. СПб., 1999. С. 67–68; далее ссылки на это издание даются в сокращении — ПССП; ссылки на романы КП и ТДС даются по этому изданию с указанием соответствующей страницы.

он укрывался, были и бесплатные уроки, была и башня, где он жил на даче. А в 1972 г. на вопрос — «Говорят, что в этом романе выведены и Вы?» — ответил, что да, в том месте, когда философ возвращается в поезде в Ленинград и повторяет: «Мир задан, а не дан; реальность задана, а не дана» (КП: 57), что тогда он увлекался философией Г. Когена.

Из всех участников Невельской школы Вагинов ранее всех познакомился и ближе всех сошелся с Пумпянским. В конце 1922 г., как вспоминал М.И. Шапиро, ученик Пумпянского, который готовил его в конце 1900-х гг. в гимназию, он, читавший в «Звучащей раковине» историю литературы по приглашению Н.С. Гумилева, перед своим отъездом за границу передал эту работу нуждавшемуся в зароботке Пумпянскому. Не позднее именно этого момента и произошло знакомство Вагинова и Пумпянского. Во всяком случае уже в конце 1922 г. Пумпянский пишет начало заметки или статьи о Вагинове:

О К. В[агинове]

1. Стих как граница. Несправ[едливость] матер[иального] и форм[ального] анализа. Но поэтики еще нет! — Новый стих как новая граница между усилившейся работой мысли и тоже усил[ившимся] трудом фонтетическим.

2. Новая более трудная связь. [зачеркнуто карандашом]

И залетевшую со стрелки стрекозу

Надо было выделить точнее единственность и исключить значительность. [фраза дописана чернилами]⁴

Заметка не завершена. И спустя совсем немного времени Пумпянский обращается уже к прозе Вагинова:

Звезда Вифлеема

осень Павловская в платке ситцевом; стены еще уцелевших домов; вокруг П[етербурга] снега, но в П[етербурге] еще тепло; на широких конях широкие люди...; и слышит он русскую речь на “а”; звуки не вылетают изо рта...

1. все это произведение рождено интересом к словам и к синкретизму слов. Надо найти не-синкретический слог и высказать то же единым языком. Быть может, это соединение Тита Ливия с советским языком есть временное несовершенство. Проза должна не любить слов, она — не стихи.

⁴ Тетрадь “Antiquité” 23 сентября 1922 г. — 2 августа 1923 г.; однако большую часть тетради занимает “История русской классической литературы”, 30 мая 1923 г. — 2 августа 1923 г.; быстрая запись карандашом среди ноябрьских материалов 1922 г.; запись могла быть сделана несколько позднее, но, скорее всего, вскоре после этого времени, так как сделана на пустой странице, возможно, специально оставленной пустой для заполнения другими материалами.

2. недостатком старой беллетристики была гипертрофия наблюдательности к характерному — но разве лучше чрезмерная наблюдательность к оттенкам слов? Надо слагать сюжеты.⁵

В издании 1999 г. начало заметки «осень ~ изо рта» воспроизведено в примечаниях (ПССП: 573) и определено как отрывок из второй неопубликованной и несохранившейся части «Звезды Вифлеема». Краткая характеристика прозы Вагинова — «соединение Тита Ливия с советским языком» — в издании 1999 г. помещена на задней крышке переплета. Такая характеристика (исторической) повествовательности, совмещенной с аномалиями — советскими — языка, указывает тот уровень, с которого должен начинаться анализ стилистического развития прозы Вагинова.

Еще одна незавершенная запись о творчестве Вагинова была сделана 28 мая 1923 г.:

Несколько замечаний о поэзии Константина Вагинова

1. Ограничения: незнание его ровесников и всего его литературного поколения. Но это же есть, в известном смысле, преимущество: мне легче, поверх литературной смуты, увидеть связь поэзии Вагинова с общей историей русского стиха. — Есть две русские литературы: старший классицизм основателей и вторая литература (1848–1903), с гораздо меньшими тематическими заслугами, но, вероятно, гораздо более представляющая великорусскую народность (или ту народность, которая представляет в образованном мире алтайскую расу народов). Старший классицизм есть творение правителей; вторая литература — народности. — К началу XX в. возрождение классицизма (возрождение канона французской поэзии; возрожденная любовь к людям и обществу 20-ых и 30-ых гг.; к старым русским писателям; возрождение лирического стихотворения.⁶

Важен уже сам замысел неоконченной работы — «увидеть связь поэзии Вагинова с общей историей русского стиха»; важна и попытка рассмотрения его творчества в рамках общей концепции истории русской литературы.

Итак, в первые полгода знакомства с Вагиновым Пумпянский трижды приступает к разбору его поэзии и прозы. Сюда следует добавить не сохранившийся доклад о Вагинове, прочитанный на вечере, посвященном выходу его сборника стихотворений в 1926 г.

Вечер состоялся 7 мая 1926 г. на квартире М.В. Юдиной (ПССП: 516). С большой вероятностью можно предположить, что именно этот доклад и этот вечер упомянуты в самом начале КП: «Он [Тептелкин] писал трактат о каком-то неизвестном поэте, чтоб прочесть его кружку засыпающих дам и восхищающихся юношей [...] В этот

⁵ Запись в той же тетради чернилами, сделанная, скорее всего, в начале 1923 г.; судя по расположению на странице среди других записей, запись представляет собою законченный текст.

⁶ Тетрадь 12 декабря 1922 г. — 25 ноября 1923 г.; запись чернилами.

вечер Тептелкин должен был читать [...] Вот сегодня я сделаю доклад о замечательном поэте» (КП: 17–18). В письме от 7 мая 1926 г. П.Н. Лукницкого Л.В. Горнунгу имеется описание этого вечера: «Сегодня был на вечере, посвященном творчеству К. Вагинова, — вечер был закрытый в частной (зато — огромной) квартире. Читал длинный, замысловатый, а в общем неудовлетворительный доклад о Вагинове Пумпянский. Потом он же читал стихи Кости, не вошедшие в книгу (начиная с [19]21 г.) и всю книгу. Вечер закончился чтением самим Вагиновым стихов, написанных после выхода, а их немало»⁷. Не следует ли из этого, что действие романа начинается 7 мая 1926 г.?

Эти свидетельства показывают постоянное внимание и заинтересованность Пумпянского творчеством Вагинова в первой половине 1920-х гг. Следует также отметить, что в эти годы это единственный случай обращения Пумпянского к творчеству современного поэта. А наличие французских изданий XVIII в., принадлежавших Вагинову, в библиотеке Пумпянского и просто говорит о дружеских отношениях, таких, какие связывали неизвестного поэта и Тептелкина на протяжении всего романа: Тептелкин восхищается поэзией неизвестного поэта (КП: 28 и далее), они встречаются, беседуют, обмениваются сокровенным. Вероятно, именно Пумпянский и ввел Вагинова в тесный кружок Невельской школы, где он вскоре стал своим. Впрочем, Вагинов становился своим у всех и везде. Вышедшую в 1926 г. свою поэтическую книгу он подарил с почтительной надписью Пумпянскому. И столь же почтительная надпись была им сделана при поднесении книги Бахтину. Важно отметить, что эта книга была одной из немногих, сохранившихся у Бахтина от тех времен.

Но несмотря на все эти тесные отношения к 1928 г. между ними происходит разрыв. О ссоре Пумпянского и Вагинова известно не только из устных рассказов и преданий, но и из воспоминаний А.И. Вагиновой и Н.К. Чуковского. Можно было подумать, что это случилось осенью 1927 г., когда в «Звезде» (1927. № 10) появился первый вариант КП — «Тептелкин». Однако, скорее всего, это случилось раньше. Своеобразную историю написания КП и собственно историю этого разрыва Вагинов описал в следующем романе — ТДС (1929), в частности, когда Куку (по преданию — Пумпянский) приходит объясняться к Свистонову (то есть Вагинову) по поводу того, что он выведен в романе Свистонова как Куку⁸.

⁷ Н.С. Гумилев в переписке П.Н. Лукницкого и Л.В. Горнунга // Николай Гумилев: Исследования и материалы. Библиография. СПб., 1994. С. 542.

⁸ Куку — одно из имен в «Мертвых душах», глава 8-я: «француз Куку» на балу. Это имя, отсылающее к французскому языку Пумпянского, с одной стороны, а с другой, к его занятиям творчеством Гоголя: именно в 1924–1925 гг.

Но как бы ни описывал этот разрыв сам Вагинов, вероятно, ближе всех сойдясь с Пумпянским, он в КП перешел некоторую грань дозволенного и сказал нечто такое, что было известно только им обоим. Ведь и само имя — Тептелкин — он заимствовал у Пумпянского. В автобиографической заметке 1923 г. «Нечто о 9 веснах!» Пумпянский в записи о весне 1921 г. отмечает, «Негодяи Теп[телкины] уже появились в моей жизни»⁹ Своеобразное объяснение, если не оправдание, появлению этого имени в романе Вагинов приводит в рукописном дополнении к печатному тексту КП, напоминая, что прототип главного героя романа, то есть Пумпянский, сам придумал его имя — «Тептелкин»: «Пусть читатель не думает, что Тептелкина автор не уважает и над Тептелкиным смеется, напротив, может быть, Тептелкин сам выдумал свою несносную фамилию, чтобы изгнать в нее реальность своего существа, чтобы никто, смеясь над Тептелкиным, не смог бы и дотронуться до Филострата» (КП: 18–19). Но и Вагинов понял, что зашел слишком далеко, о чем и говорит одно из позднейших рукописных дополнений к уже изданному ТДС: Свистонов после объяснения наблюдает за реакцией Куку с болью: «Я поступил безнравственно, воспользовавшись им для своего романа [...] Он верил в меня, в мою дружбу. Поступок мой не этичен [...]» (ТДС: 197). Но многие черты Куку — любовный роман, показная эрудиция, множество прочитанных книг, то, что ничего не пишет, похож на Пушкина, занимается кино — можно соотнести не только с Тептелкиным, героем КП (и с Пумпянским как его прототипом), но и с другими людьми той же среды.

Однако и помимо этого разрыва Вагинов к тому времени отходил или уже отошел от Невельского кружка. Вероятно, его заседания стали менее регулярны; не только сам кружок стал распадаться, но и его члены начали разбредаться. Во всяком случае, Бахтин на вопрос об обэриутах (с которыми сошелся Вагинов) и об А.Н. Егунове (одном из абдемитов¹⁰, к которым переметнулся Ва-

он приступает к анализу «Мертвых душ»; и скорее всего, это имя мог назвать и сам Пумпянский как пример гоголевского стиля.

⁹ Пумпянский Л.В. Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. М., 2000. С. 23–24.

¹⁰ АБДЕМ (А. Болдырев, А. Доватур, А. Егунов, А. Миханков) — группа филологов-классиков 1920-х гг., занимавшихся совместным чтением и переводом греческих текстов; об абдемитах и Вагинове см.: Васильев А.Н. Аристид Иванович Доватур: Документальное наследие ученого в архиве Санкт-Петербургского филиала Института российской истории РАН. СПб., 2000. С. 5, 12, 60–61; Гаврилов А.К. О филологах и филологии: Статьи и выступления разных лет. СПб., 2011. С. 26, 152, 154–155, 196; Доватур А.И. Устные воспоминания // Древний мир и мы: Классическое наследие в Европе и России: альманах. Вып. 5. СПб., 2014. С. 179–183.

гинов и с которыми — сверстниками — дружил до последних дней жизни) ответил, что не знал ни тех, ни другого близко.

Другие реалии, связанные с Пумпянским.

«Китайский халат» (КП: 18, 65); по воспоминаниям И.И. Канаева жил тогда Пумпянский в чрезвычайной бедности, носил купленную по случаю какую-то экзотическую куртку, вероятно, ту, в которой он запечатлен на фотографии участников Невельской школы в Ленинграде. В КП куртка стала шелковым халатом.

«Дача в Петергофе» (КП: 53); по воспоминаниям И.И. Канаева, Пумпянский в некоторые годы летом жил поблизости от биологического института в Старом Петергофе (этот институт упомянут в романе — КП: 59–60), читал лекции его сотрудникам. В рукописи лекции «О Марселе Прусте» указано, что она написана 8 августа 1926 г. в Старом Петергофе и, вероятно, тогда же прочитана в биологическом институте¹¹. О Старом Петергофе, где летом жил Пумпянский, упоминает М.К. Юшкова-Залесская, жена Б.В. Залесского, одного из ближайших друзей Бахтина, в своем дневнике¹².

«Доклады» в домашних кружках; уже на первых страницах КП Тептелкин отправляется делать доклад. Это было тогда по воспоминаниям И.И. Канаева обычным делом; он сам дважды в таких кружках слышал доклад Пумпянского о «Памятнике». Этот доклад, как понравившийся Ф. Сологубу, вспоминает и Бахтин¹³.

Клубные лекции (КП: 112; ПССП: 528, зачеркнутый абзац в авторском экземпляре издания 1928 г.) и частные уроки во второй половине 1920-х гг. — единственный источник существования Пумпянского; с середины 1920-х гг. до конца жизни (и особенно много в конце 1920-х — первой половине 1930-х гг.) Пумпянский прочитал огромное количество популярных лекций, — «10 тысяч», по его словам, — на самые различные темы. И именно этот его универсализм и получил отражение в фигуре Тептелкина.

Но особенно характерно Вагинов воспроизводит сферу духовных и профессиональных интересов Пумпянского. В архиве Пумпянского относительно полно, хотя и с неизбежными потерями, сохранились материалы как раз 1918–1925 гг. с записью лекций, рефератов, конспектов, планов, набросков, а также списки всех прочитанных и просмотренных книг с 1921 по 1925 г. (несколько тысяч названий). Причем эти названия заносились в погодные списки тут же по просмотре или прочтении. По этим спискам видно, какие

¹¹ Пумпянский Л.В. О Марселе Прусте // Произведенное и названное: Философские чтения, посвященные М.К. Мамардашвили. 1995 год. М., 1998. С. 11–12.

¹² Паньков Н.А. Вопросы биографии и научного творчества М.М. Бахтина. М., 2010. С. 455–456.

¹³ М.М. Бахтин: Беседы с В.Д. Дувакиным. М., 2002. С. 173.

именно проблемы волновали его и его друзей в эти годы. Эти материалы и соотносятся со сведениями о Тептелкине у Вагинова.

В романе только Тептелкин (наряду с неизвестным поэтом) удостоен предыстории — глава «Расцвет», где говорится о его преподавании в университете на юге. А между тем в главе «Расцвет» воспроизводятся известные, вероятно, Вагинову по рассказам Пумпянского и его друзей факты пребывания в Невеле и Витебске. И при этом ни одного намека на то, что и философ (Бахтин) там тоже был. Впрочем, во время пребывания Пумпянского в Витебске с осени 1919 по осень 1920 г. Бахтин находился в Невеле и только позднее перебрался в Витебск. Так же как нет ни одного намека о прежней в Невеле деятельности Невельской школы. Но все же в романе воспроизводится то воодушевление и восторг, с которым представители Невельской школы принимали участие в культурной работе: диспуты, лекции, преподавание и т.д. — они были постоянно в центре внимания, и об этом говорят сообщения в невельской газете «Молот» и витебской периодике.

Воспроизводит Вагинов и тот восторг окружающих, который неизменно сопутствовал выступлениям представителей Невельской школы. А имена, которые называет Вагинов — Абелия, Данте, Новалис, Платон, Петрарка, Вяч. Иванов, последнее имя особенно важно из-за особой роли его в становлении идей Невельской школы, — соответствуют тем курсам, названия которых сохранили газеты, а материалы к ним — архив Пумпянского: курс истории европейской эстетики, истории мировой культуры, истории греческой литературы, истории греческой философии. Более того, именно здесь Вагинов воспроизводит известную по другим воспоминаниям манеру Пумпянского держаться на кафедре и его способ преподавания: комментирование и перевод с листа (КП: 61–62). И наконец, передает, — скорее всего, достоверно — рассказ самого Пумпянского о Витебске:

— Мне вспомнилось, — говорит Тептелкин, — как я преподавал несколько лет тому назад в одном университетском городе. Я помню, как раз в этот день, в этот час, мы — я и учащая молодежь — отправились на противоположный берег реки и там в рощице я прочел лекцию. (КП: 58)

Тептелкин говорит об этой платоновской затее читать в роще лекцию, вспоминая университет. Но там, в главе «Расцвет» — южный город, врангелевский десант... А здесь явно другой университетский город — Витебск, а река — Западная Двина. Это один из швов в романе, что и подтверждает достоверность этого события. Для Вагинова этот рассказ как раз важен потому, что в нем показано, как Тептелкин всегда и повсюду старается утверждать эллинское начало.

Уже на первых страницах романа возникают некоторые постоянные темы Пумпянского — «лекция об американской цивилизации» (КП: 18), будущее Европы. Пумпянский постоянно следил за судьбами послевоенной Европы. В 1923 г. он пишет, вероятно, известную Вагинову статью «О социологическом интересе мировой войны». Пумпянский внимательно изучал последствия мировой войны и сам ее ход. В его библиотеке сохранилось большая подборка книг по истории войны на разных языках.

Тептелкин изучает санскрит для своего трактата, чтобы проникнуть в восточную мудрость (КП: 65). Пумпянский, скорее всего, и в самом деле изучал санскрит, а списки прочитанных книг и рефераты некоторых из них говорят о значительном интересе к восточной философии и культуре. Возможно, здесь было и влияние такого знатока Востока как М.И. Тубянский. А на одном из заседаний Невельской школы, где Пумпянский прочитал свой реферат, свое мнение высказал наряду с Бахтиным и Тубянским, судя по записи, известный востоковед Н.И. Конрад.

Отрицательное отношение к фрейдизму Тептелкина —

[...] и дети, засунув палец в рот, созерцали провода.

Тептелкин был печален. Он шел домой и думал о том, что вот и палец можно истолковать по Фрейду, он думал о том, что вот омерзительная концепция создалась столь недавно.

Читал ли он философское стихотворение, вдруг фраза приковывала его внимание и даже любимое стихотворение Владимира Соловьева:

Нет вопросов давно, и не нужно речей.

Я стремлюсь к тебе, словно к морю ручей, —

приобрело для него омерзительнейший смысл.

Он чувствовал себя свиной, валяющейся в грязи. (КП: 102) —

вполне соответствовало отношению к нему представителей Невельской школы, а сами рассуждения Тептелкина и цитата из Вл. Соловьева, вероятно, просто воспроизводят смысл слов или даже сами слова Пумпянского. Занятия Невельской школы в зиму 1924–1925 гг. были посвящены рассмотрению фрейдизма¹⁴ и, конечно, посещались Вагиновым. Своеобразным итогом этих занятий была написанная весной 1925 г. заметка Пумпянского «К критике Ранка и психоанализа», где обыгрываются те же приемы фрейдистского истолкования: «Вообразим... в применении к философии! Категорический императив окажется, вероятно, Vaterkomplex, а Фихтево “Я” — борьбой с Vaterimago за права своего собственного пениса»¹⁵. Тогда же и Бахтин пишет для заработка статью с критикой

¹⁴ Николаев Н.И. Издание наследия Бахтина как филологическая проблема (Две рецензии) // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1998. № 3. С. 124.

¹⁵ Пумпянский Л.В. К критике Ранка и психоанализа (1925) // Филос. науки. 1995. № 1. С. 84.

фрейдизма «По ту сторону социального», напечатанную под своеобразным псевдонимом — именем своего друга В.Н. Волошинова (Звезда. 1925. № 5).

И наконец, та сфера интересов Пумпянского, в связи с которой он наиболее и известен читающей публике: история русской литературы. Всего два упоминания, но каких характерных, связанных с важнейшим для Пумпянского способом исследования — методом историко-сравнительных сопоставлений. Причем отдельных работ на обе упоминаемые темы у Пумпянского нет. Вероятно, это планы или отзвуки бесед Вагинова на эти темы с Пумпянским, и следовательно, сведения, предоставляемые нам в романе, вполне достоверны.

Первая тема: Пушкин и Парни — «доставал с полки томик Парни и начинал сличать его с Пушкиным» (КП: 18). О том, насколько в те годы эта тема занимала Пумпянского, говорят посвященные Пушкину и Парни фрагменты курса «Истории новой русской литературы» (1921–1922)¹⁶.

Вторая тема связана с высказанной Пумпянским много позднее в статье «Стиховая речь Лермонтова» программой исследования пушкинской поэзии, предполагающей выяснение истории каждого пушкинского слова: «В стихах Пушкина [...] от каждого сказанного и каждого несказанного слова, как бы предположенного взаимосвещением соседних слов, от единства, наконец, каждого стиха тянутся смысловые нити, пересечение которых в бесконечности и составляет то, что делает стихи Пушкина единственными и неповторимо совершенными. К каждому слову нужен поэтому комментарий стилистически-смысловой»¹⁷.

И именно эта программа уже предполагалась в середине 1920-х гг. Пумпянским, ибо в романе говорится:

«Надо отвлечься», — подумал он. Закутался в одеяло, сел к столу, стал сличать Пушкина с Андре Шенье.

Toujours ce souvenir m'attendrit et me touche¹⁸ (КП: 85)

Проблема восприятия Пушкиным поэзии А. Шенье была сформулирована Пумпянским в первой половине 1920-х гг. в работе «К истории русского классицизма»: «[...] А. Шенье — великий реставратор центрального положения античности, родоначальник особого 'второго' Ренессанса. Вот почему так необычайно важна та минута, когда (1819–1820) Пушкин узнал А. Шенье и понял возможность нового александрийского стиха, заново взятого у французов»¹⁹. Итак,

¹⁶ Пумпянский Л.В. Классическая традиция. С. 689–690.

¹⁷ Там же. С. 348–349.

¹⁸ «Мне сердце трогает одно воспоминанье» (франц.) Перевод Вс. Рождественского. Первая строка стихотворного фрагмента А. Шенье.

¹⁹ Пумпянский Л.В. Классическая традиция. С. 110.

новый тип антологии А. Шенье оказал необычайное воздействие на Пушкина. Приведенный же стих А. Шенье, возможно, и был тем мотивом, к которому восходят все упоминания о воспоминании в пушкинских пьесах, сочиненных в антологическом вкусе. Таким образом, целая программа изучения поэзии Пушкина сведена у Вагинова к трем строчкам прозаического текста.

И наконец, важное свидетельство Вагинова о полной непроницаемости Невельской школы и окружающей новой действительности, где, вероятно, приводятся почти дословно выражения Пумпянского:

Затем он [Тептелкин] с грустью читал отчеты о спорах. Он чувствовал, что при крайнем упадке гуманитарных наук и при крайней скудости в хороших книгах возможна только пустая болтовня, а не ученый спор.

Иногда он перелистывал новые, выходявшие книги. Его поражала форма изложения.

“Современники, — думал он, — отличаются невозможной формой изложения, полным отсутствием духа критики, крайним невежеством и чрезвычайной наглостью”. (КП: 64)

«Крайнее невежество и чрезвычайная наглость» это почти те же слова, которыми Пумпянский в 1927 г., а затем и в течение еще нескольких лет, вероятно, готовясь к лекциям о новых книгах — и таким делом приходилось заниматься для заработка — характеризует эти книги для себя. Одна из наиболее частых формулировок для себя — «наглая безграмотная книга».

Особым образом Вагинов использует для построения романа некоторые положения трактата «Автор и герой в эстетической деятельности» Бахтина. А слышать он его слышал, вероятно, тогда же, когда Пумпянский конспектировал начало трактата в 1924 г.²⁰ Вагинов материализует автора романа (КП: 14, 15, 18, 25–26, 45, 74, 77, 80–82, 92, 95, 99, 103, 135, 146; ПССП: 466–468, «Послесловие» в издании 1928 г.), то есть себя, и себя как неизвестного поэта, и вообще вольно ведет себя по отношению к самому себе. И перед судом великих комических поэтов он, неизвестный поэт, оправдывается: «[...] я породил автора [...] я растлил его душу и заменил смехом» (КП: 67). И там же объясняет судьям, что он просто погружает героев в море жизни, а комический эффект возникает сам по себе: «Я позволил автору погрузить в море жизни нас и над нами посмеяться» (КП: 68) Но тем самым Вагинов реализует положение Пумпянского из его книги о Гоголе (несомненно известной Вагинову), что «прочитать механичность телесно-бытовых функций в условленной деятельности образованных людей менее всего способны образованные сами [...] Гениальная комическая натура есть,

²⁰ См.: Бахтин М.М. Собр. соч. В 6 т. М., 2003. Т. 1. С. 327–328.

прежде всего, натура, (сатирически) прозревшая чрез обман их историзированного самолюбия и увидевшая, что *только в смехе* историзируется их целевая деятельность и что мнимая ее трагическая историзация сама есть первый и ближайший повод (и предмет) комической историзации»²¹. В этом положении содержится и объяснение названия романа: «трагическая историзация», то есть трагедия, оказывается «комической историзацией», то есть козлиной песнью.

И все же, несмотря на то, что такое большое количество реальных, принадлежащих Пумпянскому, обнаруживается в фигуре Тептелкина, Тептелкин, разумеется, не совпадает с Пумпянским. Несовпадение героя и его прототипа отметил хорошо знавший в те годы Пумпянского Н. Чуковский²². И чтобы понять меру несовпадения, достаточно посмотреть, как Вагинов не лучшим образом обошелся с Бахтиным, или, что было бы даже нагляднее, по общеизвестности биографии, с руководителем «Звучащей раковины» поэтом Н.С. Гумилевым — прототипом Заэфратского²³.

Помимо уже приведенного выше эпизода в поезде, почти все остальное в философе (Андрее Ивановиче Андриевском) вроде бы никак не вяжется с биографией Бахтина: философ — человек уже в летах, а Бахтину в 1925 г. — 30 лет; у философа умерла жена, по которой он тоскует; жена Бахтина была жива и здорова. Впрочем минимальное портретное сходство имеется — усы и борода (ср. фотографии Бахтина 1920-х гг.): «к высокому философу, совершенно седому, с длинными пушистыми усами», «философ с густой, седой шевелюрой, с молодежавым лицом, с пушистыми усами и бородой лопатой», «философ с пушистыми усами», «вспомнил философа с пушистыми усами», «философ с пушистыми усами», «философ, не замечая происшедшего, уже играл чистую, прекрасную мелодию, и круглое, с пушистыми усами, лицо его» (КП: 53, 57, 65, 76, 82).

Однако эта как бы не имеющая никакого отношения к Бахтину биография философа для нас-то как раз и имеет характер исторического свидетельства, поскольку в романе Вагинов, выстраивая вероятностную биографию для других своих героев, опирается на реальность, то и в данном случае — с биографией философа — он делает то же самое, исходя, вероятнее всего, из принятых в кружке мнений о Бахтине.

Вагинов собрал все эти бытовые разговоры, которые ни к чему не обязывали и ни к чему не вели, и составил из них биографию

²¹ Пумпянский Л.В. Классическая традиция. С. 265.

²² Чуковский Н.К. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 193–194.

²³ Никольская Т.Л. Н. Гумилев и П. Лукницкий в романе К. Вагинова «Козлиная песнь» // Николай Гумилев: Исследования и материалы. Библиография. СПб., 1994. С. 622–624.

философа, читая которую Бахтин, наверное, немало повеселился. Мы имеем в виду все эти высказывания по типу — «в прежние времена...»: в прежние времена Бахтин, такой талантливый человек, был бы оставлен при кафедре в университете для подготовки к профессорскому званию и был бы послан по обычаю в заграничную командировку; посетил бы Париж, Рим и, конечно, Германию, Марбург, великого Г. Когена. Напомним, что Бахтин, по его словам, тогда увлекался Г. Когеном, и это видно по его текстам.

«Философ играл. Он видел Марбург, великого Когена и свою поездку по столицам западноевропейского мира; вспомнил, как он год прожил на площади Жанны д'Арк; вспомнил, как в Риме...» (КП: 53)

В прежние времена Бахтин уже давно бы и диссертацию защитил и стал бы профессором, жил бы как профессор в огромной квартире, встречал бы друзей и т.п. Это вспоминает уже сам философ:

“Здесь я сотрудничал в специальных философских журналах, которых было почти достаточно. Здесь напечатана была моя работа, в свое время известная, здесь я защищал ее на звание профессора”.

Философ прошелся по большой комнате, оклеенной дорогими, но выцветшими обоями.

Он увидел гостиную в ее прежнем виде.

Услышал философские и литературно-философские разговоры (КП: 109)

Отметим лишь, что уже написанные труды Бахтину печатать было негде, и жил он не в профессорской квартире, а в комнате, поражавшей всех своей аскетической обстановкой, если не бедностью, и вынужден был не писать свои труды, а заниматься для заработка обличением фрейдизма, формализма, вульгарного социологизма и даже писать о философии биологии.

Толчком для создания такой биографии философа, скорее всего, послужили рассказы друзей Бахтина о том, как в октябре 1920 г. в Витебске он написал шуточную мистифицированную автобиографию, в «омфалическом» вкусе, при поступлении на работу. Впрочем, эта шутка имела вполне серьезную цель — получить место преподавателя на кафедре истории западноевропейской литературы в Витебском институте народного образования:

Михаил Михайлович Бахтин

[...]

Родился 1891 г. в городе Орле. В 1908 году окончил Одесскую 4-ю гимназию. 1908 по 1910 год состоял студентом филологического факультета Новороссийского университета. С 1910 по 1912 год находился в Германии, где прослушал 4 семестра Марбургского университета и один семестр в Берлине. С 1912 по 1914 год состоял студентом Петроградского

университета. В 1914 году закончил Петроградский университет с оставлением по кафедре классической филологии Ф.Ф. Зелинским. С 1914 по 1917 год работал при университете, в филологическом обществе и обществе классической филологии. С 1917 по 1918 год состоял преподавателем Свенянской мужской гимназии. 1918 по 1920 состоял преподавателем Ед[иной] тр[удовой] шк[олы] 2-й ст[упени] и педагогических курсов г. Невеля.

М. Бахтин²⁴

Все в этой автобиографии вымышлено, за исключением места рождения и преподавания в Невеле. Публикаторы этого текста справедливо полагают, что Бахтин стилизует свое жизнеописание, используя факты биографии своего брата Николая и своего старшего друга М.И. Кагана. Впрочем, год рождения — 1891 — скорее всего, заимствован у Пумпянского. Те же сведения повторяются и в других витебских документах того времени²⁵. Эту биографическую канву Вагинов и превращает в жизнеописание философа, героя романа.

Однако в высказываниях Тептелкина о философе Вагинов отразил действительные отношения Пумпянского и Бахтина. То, что Бахтин в романе выведен философом, было естественным для всех, кто его знал, кто с ним сталкивался, а не только для представителей Невельской школы.

Вот как о нем говорит неизвестный поэт, то есть сам Вагинов: «[...] вспомнил философа с пушистыми усами и мысленно преклонился перед его стойкостью; в прежние времена этого философа ждала бы великолепная кафедра. Почтительную молодежь было бы не оторвать от его книг. Но теперь нет ни кафедры, ни книг, ни почтительной молодежи» (КП: 65).

Но только Пумпянский по размаху своих дарований и интересов мог оценить действительный масштаб философских трудов Бахтина. Недаром в его архиве осталось несколько конспектов бахтинских лекций и выступлений. Для Пумпянского такие записи — случай редчайший. Поэтому когда Тептелкин думает, — «Сюда придет и философ, его старый наставник, и необыкновенный поэт, духовный потомок западных великих поэтов, прочтет им всем новые стихи свои на лоне природы» (КП: 52), — то здесь можно видеть действительное высказывание Пумпянского о Бахтине — «наставник», только лишь своеобразно интонированное Вагиновым.

²⁴ Лисов А.Г., Трусова Е.Г. Реплика по поводу автобиографического мифотворчества Бахтина (Новая находка в фондах Витебского архива) // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1996. № 3. С. 165. На с. 164 воспроизведена автобиография Бахтина (автограф).

²⁵ Паньков Н.А. Загадки раннего периода (Еще несколько штрихов к «Биографии М.М. Бахтина») // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1993. № 1 (2). С. 81.

Но оставив в стороне эти косвенные свидетельства, а также черты облика философа совсем уж никак не идущие к Бахтину, такие, как игра философа на скрипке, его воспоминания о променаде в цилиндре с тросточкой или грусть о своей юности, мы упомянем еще несколько эпизодов, уже непосредственно соотносящихся с Бахтиным.

Во-первых, два раза упоминается область теоретических разысканий Бахтина в эти годы: первый раз, когда Костя Ротиков сообщает неизвестному поэту, что он берет «уроки методологии искусствознания» у Андрея Ивановича, то есть философа (КП: 58); второй — когда философ сетует на то, «что он освещает вопросы философии и методологии совсем не перед той аудиторией, перед которой разрешать их должно, что в общем это какая-то дикая забава. К чему методология литературы его вечному спутнику фармацевту? Зачем он читает свои трактаты вечно подвизным и практическим людям?» (КП: 109). Методологии искусствознания и литературы посвящены трактат Бахтина «Автор и герой» и его же статья 1924 г., вне всякого сомнения известные Вагинову.

Во-вторых, вполне достоверно описана поездка Бахтина, или одна из его поездок, в Петергоф на празднование годовщины биологического института: «После обеда все вместе направились в старый Петергоф на празднование годовщины местного института» (КП: 59). В книге сказано, что философ со спутниками опоздали, «научная часть кончилась, неслась музыка из небольшого зала небольшого дворца герцогов Лейхтенбергских» (КП: 60), — в этом дворце и располагался биологический институт. Именно там в 1925 г. А.А. Ухтомский прочитал свой доклад о хронотопе²⁶, на котором присутствовал Бахтин, отметивший этот доклад при публикации в 1975 г. своего труда «Формы времени и хронотопа»: «Автор этих строк присутствовал летом 1925 г. на докладе А.А. Ухтомского о хронотопе в биологии; в докладе были затронуты и вопросы эстетики»²⁷. О том, что в КП описано посещение Бахтиным биологического института и его присутствие на докладе Ухтомского, неоднократно писал Вяч. Вс. Иванов: «Напечатанная отдельной книгой почти одновременно со “Скандалистом” (а в журнале за год до того) КП Вагинова представляет собой художественное воссоз-

²⁶ См. тезисы доклада: *Ухтомский А.А. Доминанта души: Из гуманитарного наследия*. Рыбинск, 2000. С. 77–80; там же сказано, что Ухтомский выступил с докладом «О временно-пространственном комплексе, или хронотопе» перед сотрудниками Петергофского естественно-научного института осенью 1925 г.

²⁷ *Бахтин М.М.* Собр. соч.: В 6 т. М., 2012. Т. 3. С. 341; как отмечают комментаторы, по словам И.И. Канаева, Бахтин слушал этот доклад вместе с ним и, вероятно, Пумпянским; там же отмечено, что пребывание Бахтина и всей их компании в Петергофе отражено в КП (Там же. С. 797–798).

дание отдельных моментов жизни круга Бахтина в Ленинграде в конце 1920-х годов. Некоторые эпизоды воспроизведены с документальной точностью, например, поездка в Петергоф, где Бахтин слушал в биологическом институте доклад Ухтомского, повлиявший на его концепцию»²⁸. Только из романа мы узнаем о ежегодном праздновании годовщины института, открывавшемся научной частью, то есть докладом или докладами. Вероятно, в такой день и был прочитан доклад Ухтомского. Если исходить из того, что действие в КП начинается в мае 1926 г., то описанный в романе праздник в институте согласно дневнику М.К. Юшковой-Залесской, жены Б.В. Залесского, частично опубликованному замечательным исследователем бахтинского наследия Н.А. Паньковым, приходится на 11 июля 1926 г.: «С Б.[В. Залесским] на празднике. Оч[ень] тоскливо. Интересн[ый] доклад Ухтомского. Играла неудачно (мигрень). Возвращались с Вагиновыми. Рада быть дома»²⁹. Если это не ошибка памяти или даже записи, то в 1926 г. Ухтомский сделал какой-то другой неизвестный доклад. Если же действие романа начинается в 1925 г., то в записи 11 июля 1925 г., если на этот день приходилось празднование годовщины, ничего не говорится ни о празднике, ни о докладах, зато речь идет о даче Пумпянского в Петергофе: «С Б.[В. Залесским] в Ст[аром] Петергофе у Л.Вас. Пумпянк[ого], (у него чуждо). Ост[ались] ночевать. Бесконечно разговаривала с Л.В., когда уже легли»³⁰. Поэтому пока невозможно указать к какому году относится описанное в КП празднование.

Вполне достоверно изображены и спутники философа: жена как сотрудница местного института («философ Андрей Иванович в сопровождении фармацевта и научной сотрудницы местного института»; «на траве аккуратно сидела сотрудница местного института»; «философ, фармацевт и научная сотрудница» — КП: 59–60) и близкий друг Бахтина в течение многих десятилетий, столь много помогавший ему и столь высоко его почитавший биолог и историк науки И.И. Канаев (вечный спутник философа — фармацевт (КП: 109), в середине 1920-х гг. — сотрудник биологического института). Причем фармацевту приданы и внешние черты сходства с Канаевым («фармацевт, вечно шевелящий губами»; «огромного роста, в крахмальном белье и собственном не носил, а преподносил свой костюм» — КП: 59). Показана и отличавшая Канаева и тогда и впоследствии забота о Бахтине: «Фармацевт следит, как бы не оступился философ, как бы не разбился, как бы не пропало одно из последних философских светил» (КП: 60). Канаев вспоминал, что

²⁸ *Иванов Вяч. Вс.* Избр. труды по семиотике и истории культуры. Т. 2: Статьи о русской литературе. М., 2000. С. 607.

²⁹ *Паньков Н.А.* Вопросы биографии и научного творчества М.М. Бахтина. С. 457.

³⁰ Там же. С. 455.

ему очень повезло в жизни встретиться с такими людьми как Бахтин и Пумпянский. Более таких он не встречал.

В-третьих, вероятно, по своим наблюдениям Вагинов описывает подготовку Бахтина, то есть философа, к докладам в различных кружках. Тогда существовал обычай путешествовать из одного домашнего кружка в другой интересным людям. Вот Бахтин записывает тезисы, вот готовится к обсуждению, вот за ним заходит по обыкновению Канаев, вот они вместе отправляются... а, возможно, с ними и сам Вагинов (КП: 109–110).

И только уяснив, каким образом запечатлены реалии в романе и каким образом они трансформируются, можно перейти к «основному труду» всей жизни Тептелкина:

На первой странице было выведено: “Иерархия смыслов. Введение в изучение поэтических произведений”. На второй странице в нижнем углу (Тептелкин любил оригинальность) помещалось посвящение “Моей Единственной” (единственной с большой буквы) и фотографическая карточка Мечты. На третьей странице римская цифра 1, на четвертой посредине выступало одно слово; “предисловие”, на пятой...

Труд был начат солидно. Дальше под основным текстом шли примечания на французском языке из виднейших современных лингвистов, без перевода на русский язык (труд был явно рассчитан на настоящих ученых, а не на глупых студентов). Основной текст, казалось, тоже был написан на иностранном языке и только согласован русскими окончаниями. Тут намекалось на возможность дать новые определения понятию романтического и понятию классического, тут говорилось о поэтических способах окрашивать настоящее время в прошедшее и будущее и разрушалось нелепое представление, что смыслы гнездятся в слове, и давалось определение эстетического как фантазма, как гармонизации природы и истории.

“И если б истинный художник, — думал Тептелкин, — заглянул в эту книгу, он не смог бы оторваться от нее; на него подействовал бы завораживающий пафос этих страниц: художественное произведение всегда лично, принципиально лично, нельзя видеть художественное произведение безлично, дело не в имени, а в том, что личность в произведении отражается”.

* * *

“Искусство есть восхищенность, есть объективный фазис бытия. В эстетическом нет ни природы, ни истории, это особая сфера: и не логическая, и не этическая, и не сумма их”. Сколько бы ни читал художник, неотступно звучал бы в его ушах лейтмотив книги: искусство есть бытие восхищенное, фантазия есть объективный фазис бытия (КП: 37–38)

Все в этом труде, который упоминается в романе еще дважды (КП: 65, 144), столь необычно, непроницаемо, что не надо даже пародировать, достаточно цитат.

Без сомнения, все описанное может относиться только к трудам Пумпянского. Вагинов воспроизводит и их внешний вид, и оформление («Достал тетрадь» — КП: 37): весь архив Пумпянского

за 1919–1925 гг. состоит из нескольких ученических тетрадей, исписанных бисерным почерком; каждая тетрадь имеет особое название, используемое в других тетрадях для отсылок; помимо названия, каждая тетрадь имеет эпиграф, а то и несколько на разных языках; другой особенностью Пумпянского была привычка нумеровать большие разделы в каждой работе. Характеризует Вагинов и стиль Пумпянского — чрезвычайно емкий, насыщенный иноязычными выражениями (см., например, его труд «К истории русского классицизма»), а также терминами, в том числе и вновь образованными и восходящими в своей основе к другим языкам. Когда Вагинов говорит о том, что в труде Тептелкина дается новое определение классического и романтического, то это отсылка к тем определениям Пумпянского, которые он дает, прежде всего, в «Достоевском и античности» (1922), а также в других работах того времени.

Наконец, определение эстетического, или искусства, причем данное дважды, рядом, причем второе закавычено, то есть, вероятно, это точная цитата, или как бы цитата, соотносится с определением эстетического в «Авторе и герое» и статье 1924 г. Бахтина, работам известным Вагинову и, вероятно, обсуждавшимся им с Пумпянским. Ср.: «[...] эстетическая деятельность создает свою действительность, в которой действительность познания и поступка оказывается положительно принятой и преображенной: в этом своеобразии эстетического»³¹; «Эстетически значимая форма есть выражение существенного отношения к миру познания и поступка, однако это отношение не познавательное и не этическое»³².

Однако для трех вещей прямых текстуальных соответствий у Пумпянского не находится: 1) для названия «Иерархия смыслов»; 2) для такой особенности как «примечания на французском языке из виднейших современных лингвистов»; 3) для положений «о поэтических способах окрашивать настоящее время в прошедшее и будущее» и «о нелепом представлении, что смыслы гнездятся в слове». Впрочем, представление это нелепо именно потому, что смысл определяют текстовые единства от предложения и выше³³.

Что касается названия, то здесь может быть три варианта: 1. весьма вероятно, это название утраченного сочинения; такое вполне могло произойти. Бахтин в 1922 г. в письме М.И. Кагану пишет, что Лев Васильевич «прекрасно устроился в Петрограде [...] на днях должна выйти, вероятно, уже вышла из печати его работа о Ромэн Роллане и о Гоголе [...] Кроме того, он договорился уже об издании его лекций по натурфилософии в Берлине (на русс[ком])

³¹ Бахтин М.М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. С. 287, 797–798.

³² Там же. С. 290.

³³ См. статью 1924 г. Бахтина — Бахтин М.М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. С. 301, 830–831.

яз[ыке]»³⁴. Ни одна из этих работ не была издана и их рукописей в архиве Пумпянского не сохранилось, как не сохранилось и рукописей всех его напечатанных работ. 2. более вероятно, что это название работы, которую Пумпянский собирался написать и изложил ее план Вагинову; для этой-то работы Пумпянский и намеревался почитать французских лингвистов, а также описать способы окрашивания времени. 3. самое вероятное заключается в том, что Вагинов придумал за Пумпянского такую работу, используя некоторые его мысли, высказанные по разным поводам; то есть и здесь Вагинов приводит часть реалий, а остальное домысливает.

Какую же роль играют в романе Тептелкин и философ и почему Вагинов использовал при их создании черты личности Пумпянского и Бахтина?

Критика 1920-х гг. в соответствии со стереотипами времени обрушилась на ловко подставленную ей Вагиновым башню-культуру со стоящим на верху ее Тептелкиным. И Тептелкину как вместилищу всех грехов прошлого здорово от критики досталось. Такое восприятие романа как сатирического в том или ином виде фактически дошло до последнего времени. И только один критик 1920-х гг., И. Сергиевский, увидел в КП идеологический роман.

Вот почему Бахтин не раз говорил своим собеседникам в конце 1960-х — начале 1970-х гг., что КП — роман совсем непонятый, петербургский. В ТДС Куку сообщает собеседнице: «говорят, со времени символистов не появлялось подобного романа. А написан он стилем исключительным и охватывает целую эпоху» (ТДС: 192). Скорее всего, здесь приведены слова Бахтина. Если прототип Куку — Пумпянский, а это так, раз он прототип Тептелкина в КП, то он передает мнение о КП Бахтина: со времени символистов, то есть «Петербурга» А. Белого (ср. рекомендации Бахтина иностранным посетителям начала 1970-х гг. — в первую очередь издать переводы «Петербурга» и КП).

Но более определенно о романе он высказался в 1973 г. в беседах с В.Д. Дувакиным, употребив при этом эпитет «космический», который он не раз использовал и в лекции об Андрее Белом 1920-х гг., как отметили комментаторы романа в издании 1999 г.³⁵ Таким образом, суждения Бахтина о романе в определенной степени следуют его впечатлениям 1920-х гг.:

«Как прозаик он [Вагинов] был замечателен, очень интересен. Новатор. И до сих пор совершенно непонятый и нецененный [...]»

³⁴ Каган Ю.М. О старых бумагах из семейного архива (М.М. Бахтин и М.И. Каган) // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1992. № 1. С. 72.

³⁵ ПССП: 523. Ср., например: «он [Андрей Белый] стремится [...] заменить историко-бытовой и религиозно-ортодоксальный план космическим» (Бахтин М.М. Собр. соч.: В 6 т. М., 2000. Т. 2. С. 339).

«[...] раскрывается очень яркое своеобразие Вагинова: с одной стороны, детализация мелкая, тончайшие оттенки, а с другой стороны, необычайная широта горизонта, почти космическая. Это он там резко так дал. И вот это своеобразие раскрывается и в Тептелкине. [...]

Вообще это совершенно своеобразная, я бы сказал, в литературе трагедия, трагедия — вот можно так это назвать — трагедия смешного человека. Смешного человека. Трагедия чудака, но только не в стиле Достоевского, а в ином стиле несколько [...]

«[...] Я бы сказал, Вагинов в этом отношении — совершенно уникальная фигура в мировой литературе»³⁶.

Итак, какова проблема романа?

Прежде всего, название романа является переводом распространенной этимологии греческого слова *tragoidia* — то есть «козлиная песнь».

Итак, речь в романе идет о трагедии. Чьей? Во-первых, неизвестного поэта, «не нашедшего общего языка с современностью». В его рассуждениях «о нисхождении во ад бессмыслицы» «для нахождения новой мелодии мира» (КП: 66–68) можно видеть развитие символистских теорий (например, Вяч. Иванова). Причем поиски смысла обрамляются в ненавязчиво данный миф об Орфее (КП: 66–67). Ср., например, в главе «Путешествие с Асфоделиевым» (говорящая фамилия) ездю по Ахеронту на извозчике и, наконец, смерть неизвестного поэта, теперь уже Агафонова. Скорее, здесь что-то более от ранних работ Пумпянского: о Петербурге — царстве зла и т.д., и поэте заклинающем...³⁷ Но оставим эту трагедию за специалистами по поэзии 1920-х гг.

Вторая трагедия — это трагедия Тептелкина, что и было отмечено критикой 1920-х гг., увидевшей в нем главное действующее лицо; кстати, и первая — журнальная — публикация романа (Звезда. 1927. № 10) строилась вокруг Тептелкина и философа. Эта, по словам Бахтина, особая, другая — в отличие от описанной Достоевским — трагедия смешного человека, Тептелкина (Пумпянского), когда прежний, воспитанный начиная с эпохи Возрождения, идеал учености становится смешным, а сама фигура воплощенной учености становится безысходно трагической.

И здесь нужно сказать несколько слов по поводу замечания Е.А. Тоддеса и М.О. Чудаковой, что пародийность в КП мешает развиваться историзации, которая в романе переходит в простую календарность³⁸.

И действительно это так: историзации, как ее понимают Тоддес и Чудакова — то есть всеизвестность лица, на которую отсыла-

³⁶ М.М. Бахтин: Беседы с В.Д. Дувакиным. С. 211, 223, 224.

³⁷ Пумпянский Л.В. Классическая традиция. С. 590–598, 811–823.

³⁸ Чудакова М.О., Тоддес Е.А. Прототипы одного романа // Альманах библиофила. М., 1981. Вып. X. С. 176.

ет цитата из него, и соответствие времени — для Пумпянского и Бахтина в образах Тептелкина и философа в самом деле нет. Ибо те черты, которые действительно относятся к Пумпянскому и Бахтину, как мы пытались показать, были известны только очень узкому кругу людей (всего несколько человек). Читатель же эти черты и не мог никак воспринять, их для него не существовало, и дошедшая до нас широко распространенная легенда, что Тептелкин — это Пумпянский, обязана своим появлением не узнаванию читателей, а просто сообщению, что Тептелкин — это многим известный лектор Пумпянский.

Сначала Н. Чуковский, как пишет он в своих воспоминаниях — если, конечно, это не «вторичное» воспоминание по аналогии с КП, — увидел Пумпянского в Тептелкине вагиновской поэмы «И дремлют львы как изваянья...», а затем, скорее всего, именно он опознал его же в Тептелкине КП и рассказал всем остальным³⁹. Ведь Н. Чуковский был достаточно близко знаком с Пумпянским: помнил его по урокам истории русской литературы в Тенишевском училище, а потом, после окончания школы, брал у него уроки французского языка. Но Невельского кружка — Бахтина и др. он не знал никак, не знал, кто Костя Ротиков (его прототип — И.А. Лихачев), хотя его упоминает, не знал и И.И. Канаева (его родственника). При всей своей исключительной достоверности, особенно в деталях, воспоминания Н. Чуковского, как это обычно и бывает, содержат хронологические неточности: Пумпянский не мог в конце 1925 г. перейти к марксизму, как пишет Н. Чуковский, это могло произойти только в конце 1926 г.; и то же о написании романа с 1924 г.; Н. Чуковский помнит, что Вагинов главу за главой в течение трех лет читал по разным квартирам и поэтому отсчитывает начало работы над романом от времени издания его журнального варианта в «Звезде» в 1927 г. Но если отсчитывать от момента появления книги, то Вагинов приступил к написанию КП в 1926 г. Скорее всего, по нашему мнению, так и было. Комментаторы «Библиотеки поэта» драматическую поэму «И дремлют львы как изваянья...» (июнь 1925 г.) и стихотворения «Философ» («Два пестрых одеяла...»; конец лета 1925 г.)⁴⁰ и «Я стал просвечивающей формой...» (осень 1925 г.) рассматривают как своего рода прототекст КП: те же темы, те же главные герои — Тептелкин, (старый) философ, Филострат как будущий неизвестный поэт КП. Но это еще не герои КП, они еще не приобрели явных черт сходства с Пумпянским и Бахтиным. Тогда как стихотворение «Ленинградская ночь», написанное не ранее 1927 г., а возможно, и 1928 г., представляет философа, Тептелкина

³⁹ Чуковский Н.К. Литературные воспоминания. С. 189–190, 192.

⁴⁰ О датировке этой редакции стихотворения, озаглавленной «Философ», см.: Вагинов К.К. Песня слов. М., 2012. С. 111, 185.

и Филострата уже героями КП⁴¹. Следовательно, Вагинов мог приступить к созданию КП только после осени 1925 г. и, скорее всего, в 1926 г. Здесь мы следуем комментаторам ПССП, определившим время создания романа 1926–1928 гг. (КП: 146).

И, следовательно, не из-за пародийности нет историзации. Отсутствие историзации было предположено уже самим замыслом. И для читателя Тептелкин и философ были такими же вымышленными персонажами, какие ему встречались и в других романах. Нужно сказать, иные второстепенные персонажи узнавались скорее, что и дало В.Б. Шкловскому повод говорить о «памфлетном мемуарном романе»⁴².

Что же касается второй части утверждения Е. Тоддеса и М. Чудаковой о пародийности, сходящей в календарность, то здесь ими отмечена важнейшая особенность романа — быстротечность событий.

Действие романа начинается в 1924/1925 или в 1926 г., скорее последнее; четыре года спустя после 1920-го (в первом случае), и заканчивается — прошло два года (КП: 100) — в 1927 или 1928 г. (во втором случае), когда Тептелкину 37 лет, то есть столько же, сколько и Пумпянскому. За это время действительно происходят катастрофические изменения в жизни героев.

Перед нами не просто крушение элитарного замысла культуры.

Кружок ученых людей (Тептелкин, философ и другие) бескорыстно, настойчиво старается сохранить башню культуры среди происходящего упадка гуманитарных наук. Но не выдержав столкновения с действительностью, они волей-неволей расстаются с мечтой сохранить огонек гуманизма; кружок их распадается и из хранителей культуры они превращаются в обывателей, так или иначе прилагающих свои гуманитарные способности и выучку на потребу существующему положению вещей, которому в начале романа они пытались противостоять.

Здесь следует отметить, что Вагинов, создавая башню культуры своих героев, использует не только весь набор всевозможных символов башни — от Вавилонской до башни Вяч. Иванова — но и каждый элемент этой башни сознательно подбирает так, чтобы ее обитатели как можно более отличались от окружающего мира, как можно более чувствовали свое отличие и свой разлад, свою уединенность. То, что в КП идея башни культуры сочетается с идеей Третьего (славянского) Возрождения, было отмечено в замечательной статье С.С. Хоружего⁴³. Идея нового Возрождения была одной

⁴¹ Поэты группы «ОБЭРИУ». СПб., 1994. С. 622–623.

⁴² Шкловский В.Б. Гамбургский счет: Статьи — воспоминания — эссе (1914–1933). М., 1990. С. 406.

⁴³ Хоружий С.С. Трансформации славянофильской идеи в XX веке // *Вопр. философии*. 1994. № 11. С. 52–56. См. также: Николаев Н.И. Судьба идеи

из главных тем виленского кружка друзей конца 1900-х гг., куда входили братья Бахтины, Пумпянский, Кобеко и Лопатто. М.И. Лопатто в 1972 г. вспоминал, как в те годы говорил, «что надо уехать и где-нибудь на счастливом острове создать монастырь поэтов нового Возрождения»⁴⁴. Таким образом, один из главных мотивов КП восходит к началу 1910-х гг. Недаром ключевыми словами в КП являются «возрождение» (КП: 17, 27, 68, 80, 100, 106, 137, 144), «ренессанс» (КП: 52), «гуманизм» (КП: 35, 67, 77, 81, 82, 97) и «гуманисты» (КП: 63, 97).

Что же касается деятельности Невельского кружка и его представителей — прототипов героев романа, — то все названные выше черты прототипов в образах Тептелкина и философа сознательно интонированы относительно идеи башни культуры, а деятельность Невельского кружка в КП соответственно сознательно стилизована под воспроизведение всеми признаваемых культурных ценностей XIX в.

Отсюда ясно, что и труд Тептелкина тоже интонирован в сторону идеи башни культуры; он должен быть средоточием, высшим достижением этой башни культуры; он должен быть эзотеричен — и таковым он должен был представляться читателям. Интересы пребывающих на башне — прежде всего Тептелкина — историко-культурные, ориентированные на позднюю языческую античность и поздний гуманизм: «Утешение философии» Боэция; Марк Аврелий... «Зодиак жизни»...⁴⁵, барокко, бывшее тогда в моде в послевоенной Европе. Причем уже сам набор этих имен и их сочинений как бы показывает обреченность последних мудрецов 20-х гг. XX в. по аналогии с обреченностью на гибель первых и обреченностью на забвение вторых. Причем почти все герои подчеркивают эту об-

Третьего Возрождения // MOYSEION: Профессору Александру Иосифовичу Зайцеву ко дню семидесятилетия. Сб. ст. СПб., 1997. С. 343–350; *Он же*. М.М. Бахтин, Невельская школа философии и культурная история 1920-х годов // Бахтинский сборник. Вып. 5. М., 2004. С. 259–268; *Он же*. Идея Третьего Возрождения и Вяч. Иванов периода Башни // Башня Вячеслава Иванова и культура Серебряного века. СПб., 2006. С. 226–234; *Брагинская Н.В.* Славянское возрождение античности // Русская теория 1920–1930-х гг.: Материалы Десятих Лотмановских чтений. М.: РГГУ, 2004. С. 49–80.

⁴⁴ *Эджертон В.* Ю.Г. Оксман, М.И. Лопатто, Н.М. Бахтин и вопрос о книгоиздательстве «Омфалос» (Переписка и встреча с М.И. Лопатто) // *Лопатто М.И.* Я не гость, не хозяин — лишь имя... Стихотворения. Проза. Письма. Pisa; Москва: Водолей, Università di Pisa, 2015. С. 415.

⁴⁵ О попытке выяснить, какое же из изданий этой поэмы имел в виду Вагинов, см. статью А.Х. Горфункеля: *Горфункель А.Х.* Поэма П.-А. Мандзоли «Зодиак жизни» в фондах ГПБ // Исследование памятников письменной культуры в собраниях и архивах отдела рукописей и редких книг. Л., 1985. С. 132.

реченность: «мы давно [...] пережили гибель, и никакая гибель нас не удивит», «мы — последний остров Ренессанса», «мы свое будущее знаем» (с цыганкой), «надо было поддержать падающую культуру» (КП: 36, 52, 60, 69).

Столь же резко выведена окружающая действительность, не соответствующая мыслям и чувствам обитателей башни — упадок гуманитарных наук, падение науки, и вообще распад. Наконец, из поздней античности фигура Филострата.

Надо сказать, что такое интонирование противоположно деятельности Тептелкина в главе «Расцвет», где все было наполнено другими авторами.

Все это, наверное, и позволило автору самой серьезной и вместе с тем резко критической рецензии на КП И. Сергиевскому сказать, что тема романа — гибель последнего поколения дореволюционной петербургской интеллигенции. И если бы это было только так — гибель замкнувшейся в новых условиях в своих интересах интеллигенции, после отказа от своих идей влачащей филистерское существование — то перед нами было бы очередное повествование на тему гибели художника в окружающем мире, то есть очередное воплощение темы крушения элитарного замысла. Более того, по социологическим параметрам под эту элиту могло подойти вообще любое кружковое объединение со своей идеей, каких было множество в 1920-е гг. — мистических, религиозных, поэтических, научных и т.д. — и куда с большим эффектом можно было дать их пародийное изображение (так, например, как в «Бамбочаде» и «Гарпагониане»), а не создавать его с героями, прототипами которых были столь им уважаемые люди, подлинное значение которых, неприемлемое для других, он вполне понимал.

О том же, что КП — роман не только о крушении элитарного замысла (башни), говорит сама деятельность прототипов — представителей Невельской школы — особенно в первые пореволюционные годы в Невеле и Витебске. Энтузиастическая деятельность, отраженная в главе «Расцвет» — чтение лекций, докладов, участие в диспутах, даже забота о внешнем виде Невеля — свидетельствует о наличии культурной программы; более того, наличествовало крайнее совпадение мысли и дела, а необычность всего этого для обыденной интеллигенции засвидетельствована в похищении профессоров во время энтузиастического выступления Тептелкина, то есть элитарность напрочь чужда Невельской школе.

По поводу кружка Вяч. Иванова (и его башни), антикизирующую деятельность которого стилизовал Вагинов при изображении башни культуры (ср. стихотворение Вагинова «Эллинисты»), Пумпянский в 1925 г. писал в статье о Блоке, что определенная система, отличавшая этот кружок и его главу, «конечно, тоже верна какой-то социальности, но всегда групповой, не общенациональ-

ной»⁴⁶. Энтузиазм же в осуществлении своей культурной программы появляется лишь как далекая предыстория в главе «Расцвет», и с первых страниц романа без всяких промежуточных фаз мы попадаем на башню культуры. Но мы знаем, что в 1925 г. идея элитарности чужда Невельской школе, значит здесь речь идет, скорее, о другом (ср. однако поэму «И дремлют львы как изваянья...» с Тептелкиным, философом и Филостратом; башня предстает как последнее прибежище перед гибелью во время метафизической чумы). Видимо, произошли какие-то важные изменения, если энтузиастичность можно свести, как у Вагинова, к элитарности, столь чуждой окружающему миру, а представление о метафизической чуме как выражении одержимости окружающего мира говорит о глубоком умственном беспокойстве: что-то не так.

Что же касается разрушения башни и гибели ее обитателей в окружающем «догматическом море» (КП: 52), то мера их падения исчисляется несоответствием их нынешнего положения с мечтой: духовный пир — прежде на башне — и...

О том же, что произошло с героями, говорит и само имя главного персонажа — Тептелкина. В самом имени заключено определение того, что из себя представляет эта гибель. Ведь в жизни самого Пумпянского, как уже было сказано, «негодяи Тептелкины» появились в 1921 г. Такое имя во множественном числе, указывающее на массовую эпидемию, уже несет в себе нечто уничижительное. Это имя, возможно, на общем языке Пумпянского и Вагинова означало какое-то новообразование времени, что-то чуждое Пумпянскому, возможно, именно то, что определяет героев повествования Вагинова, поскольку к концу романа все герои стали как бы «Тептелкиными». Если в стихотворении «Я стал просвечивающей формой...» 1925 г. — «И выплывает в ночь Тептелкин, / В моем пространстве безызмерном / Он держит Феникса сиянье / В чуть облысевшей голове.» — идея башни, то в конце романа Тептелкин разбирает свою фамилию со всех сторон, удивляясь ее неблагозвучности (КП: 144). Итак, имя главного героя КП уже в 1925 г. было нарицательным в Невельском кружке и близких к нему людей и, возможно, служило символом мировой пошлости.

В описании гибели обитателей башни Вагинов проявил удивительное визионерство, выразившееся в создании вероятностных судеб своих героев. Диссонанс распада мы слышим, когда философ, до тех пор извлекавший лишь чистые звуки при помощи своей скрипки, вдруг играет кафешантанный мотив (гибели башни), столь пугающий Тептелкина (и предвещающий гибель) (КП: 82). Философ, чьи произведения никто не читает, — скорее всего, эта линия не доведена до завершения — должен стать конторским слу-

⁴⁶ Пумпянский Л.В. Классическая традиция. С. 541–542.

жащим. Костя Ротиков: «если философ займется конторским трудом» (КП: 97). Отметим, что, действительно, Бахтин в ссылке в первой половине 1930-х гг. служил экономистом (в райпотребсоюзе). Самоубийство неизвестного поэта, не выдержавшего столкновения с современностью. (Вагинов уже знал, что он смертельно болен и предчувствовал свою кончину). Тептелкин, которого загубил быт, читающий украдкой по ночам свой труд, превратился в заурядного лектора — и Пумпянский, действительно, в течение многих лет был популярнейшим лектором — или, другая вероятность — в чиновника, кричащего на подчиненных (ПССП: 466–467, «Послеловие» в издании 1928 г.). (Этого, слава Богу, с Пумпянским не произошло). Причем эти превращения героев сопровождаются и общим распадом всего этического в близких к башне людях. Это и циничные высказывания Асфоделиева, печатающегося под псевдонимами и говорящего в статьях о пролетарской литературе, что «ее расцвет не только будет, но уже есть. За это тоже деньги платят» (КП: 75).

Башня и последующая судьба ее обитателей воспроизводят идеологическую, а не конкретную бытовую ситуацию, в которой оказались представители Невельской школы в середине 1920-х гг. Прежняя деятельность Невельской школы, в прежних формах и направлениях, — с ее собственной насыщенной программой преобразования культуры, сложившейся в конце 1910-х — начале 1920-х гг. в результате последовательной критики (одно из постоянных слов Тептелкина) всех авторитетных течений европейской и отечественной мысли в области философии, эстетики и собственно филологии, — становилась невозможной перед лицом грядущих и уже ощущаемых в середине 1920-х гг. социокультурных изменений. И здесь ни в коем случае нельзя называть прямой социологической причины распада и прекращения деятельности Невельской школы. Нет ничего более отличного от ее действительной истории. Необратимость совершающихся и надвигающихся изменений, вернее, их ощущение, передана в романе образами естественными для обитателей башни (неизвестный поэт и Тептелкин по-другому мыслить не могут): «большевизм огромен [...] создалось положение, подобное первым векам христианства» (КП: 27), «христианство появилось на периферии греко-римского мира в Иудее, нищей, печальной, узкой и косной духом» (КП: 28). И как продолжение этого ассоциативного ряда в подчеркивании мотива башни... философ напоминает собой последних языческих философов в обступившем их христианском мире (КП: 65).

С этим ощущением тесно связаны некоторые оттенки в восприятии современности у обитателей башни. Эти оттенки, как и ощущения, мы можем и должны рассматривать как те недоуменные — трагические — мотивы, — воспользуемся термином М.И. Ка-

гана⁴⁷, — как те антиномии сознания, которые и определяют внутреннее напряжение в построении романа. И именно наличие этих недоуменных мотивов в романе и показывает, что с помощью простой социологической интерпретации не объяснить судьбу представителей Невельского кружка в 1920-е гг.

Так, когда неизвестный поэт и Тептелкин, как истинные обитатели башни, «духовно плюнули на проходивших пионеров» — «экое поколение растет, без всякого гуманизма, будущие истинные представители средневековья, фанатики, варвары, не просвещенные светом гуманитарных наук» — Тептелкин думает — «какие славные, загорелые дети эти пионеры» (КП: 35–36); то есть сталкивается идея башни и идея жизни. Вполне возможно, что здесь дается отсылка на впечатления и слова Ф. Сологуба, которого в те годы неоднократно навещали представители Невельского кружка, а с ними наверняка и Вагинов. Так, 10 апреля 1925 г. К.И. Чуковский отметил в дневнике: «Я забыл записать о Сологубе: он, к удивлению, очень одобрительно отзывался о пионерах и комсомольцах. “Все, что в них плохого, это исконное, русское, а все новое в них — хорошо. Я вижу их в Царском Селе — дисциплина, дружба, веселье, умеют работать...”»⁴⁸.

Или, когда Тептелкин говорит: «пусть ярко освещены электричеством деревни [...] пусть разворачивается жизнь более красочная, чем Эйфелева башня, — чего-то нет в новой жизни» (КП: 101); то есть именно того, что было на башне.

Именно эти трагические недоуменные мотивы и являются, по нашему мнению, художественным аналогом, пусть крайне заземленным, духовного напряжения, в котором в эти годы пребывали представители Невельской школы. Недаром философ говорит, и возможно, здесь парафраз подлинных слов Бахтина, только интонированных согласно идее башни: «должен был бы появиться писатель, который воспел бы нас, наши чувства». На что неизвестный поэт отвечает — «Это и есть Филострат» (КП: 54). Что можно понимать так: только Филострат мог бы передать эти чувства, но Филострата теперь нет и, следовательно, сделать это некому. С другой стороны, ведь именно Вагинов и создает КП.

Чувства героев романа, встревоженные недоуменными мотивами, и говорят о выборе, перед необходимостью которого стояли представители Невельской школы. И не потому, что их кто-то принуждал, их вынуждало собственное сознание, настолько оторвавшееся от традиционных движений мысли в процессе их переосмысления. Возможности выбора и перечислены в виде сюжетных судеб бывших обитателей башни и их знакомых.

⁴⁷ Коган М.И. О ходе истории. М., 2004. С. 593–627.

⁴⁸ Чуковский К.И. Дневник, 1901–1929. М., 1991. С. 336.

Первая возможность состояла в сохранении принципа башни, или, что бы ни происходило, в продолжении разработки своих идей. Философу, например, стать конторским служащим и продолжить писать свои трактаты, которые никто не будет читать (судьба А.А. Мейера). Или вообще замолчать, оставшись верным идее башни: стать конторским служащим и молчать. Такой оказалась судьба М.И. Кагана; неудачей окончилась его попытка говорить на языке эпохи; и только перед кончиной он смог опять писать, вернувшись к языку своих работ невеликого периода. Впрочем, А.Ф. Лосев не смотря ни на что продолжил в эти годы разрабатывать свои идеи в гегелево-гуссерлианском духе, а перестраиваться стал только во второй половине 1930-х гг. (и только лишь после лагеря). Однако при ощущении новых необратимых изменений это означает разрабатывать свои идеи монологически, в некий будущий прок, без оглядки на историю и современность. И тогда это ничем не будет отличаться от антропософии, мистики и т.д., то есть нечто совсем непонятное для других.

Другим возможностям предшествует отказ от принципа башни, весьма цинично сформулированный Костей Ротиковым: «[...] мы последние гуманисты, мы должны донести огни. Нам нет дела до политики, мы не управляем, мы отставлены от управления, но мы ведь и при каком угодно режиме все равно были бы заняты или науками, или искусствами» (КП: 97)⁴⁹. Вот оно социологически сформулированное оправдание сервиллизма. Здесь имеется в виду продолжение профессиональной гуманитарной деятельности: чтение лекций и писание на заказ таких брошюр как «Социальные перевороты от Египта до наших дней» (КП: 102; ПССП: 466, последняя глава журнальной редакции), деятельность, подобная той, какой занимаются Костя Ротиков и Миша Котиков, прототипы которых, кстати, оставили заметный след в отечественной культуре. В собирательстве безвкусицы первым пародируется заостренная до логического предела, верная в общем программа изучения массового искусства и литературы, а значит и безвкусицы, ибо ее материал не менее репрезентативен. В собирательстве Мишей Котиковым реликвий и сведений о жизни покойного известного поэта пародируются также доведенные до логического конца задачи и способы

⁴⁹ Возможно, здесь воспроизведены не лишние трагического недоумения слова М.А. Кузмина, подобные тем, которые были записаны в декабре 1936 г. Э.Ф. Голлербахом: «М.А. Кузмин говаривал, что ему решительно все равно, кто “там, наверху” — “пускай нами управляет хоть лошадь, мне безразлично”. С лошадью, даже самой породистой, он не стал бы заигрывать и не стал бы ржать ей в угоду» (М.А. Кузмин в дневниках Э.Ф. Голлербаха // Михаил Кузмин и русская культура XX века: Тезисы и материалы конференции 15–17 мая 1990 г. Л., 1990. С. 227).

историко-биографического метода, до сих пор, увы, столь распространеного.

Наконец, поражающий своим цинизмом вариант Асфоделиева — печататься под псевдонимами, говорить, что пролетарская литература уже есть, быть ближе к современности и получать деньги. Отметим, что именно тогда Бахтин печатался под псевдонимами, именами друзей, критиковал то же, что и все — фрейдизм, формализм, вульгарный социологизм, но критиковал по-своему, не воспевая изменения и не следуя официозу.

Естественно, вряд ли именно так эти возможности осознавались представителями Невельской школы, ибо в жизни такое наблюдается редко, но Вагинов в романе этими сюжетными вероятностями как бы очерчивает то мыслительное пространство, в котором, возможно, и двигалась мысль участников Невельского кружка. И тогда перед нами идеологический роман в полном смысле слова, как об этом и говорит И. Сергиевский, назвавший основной темой вагиновского романа «тему умирающего Петербурга»: «В разработке этой довольно-таки потрепанной темы Вагинов идет, однако, своим особым путем, с самого же начала переключая ее в некий философско-исторический план и, тем самым, превращая роман в своего рода поэтический трактат о гибели последнего поколения дореволюционной петербургской интеллигенции. Такая трактатная установка сказывается уже в самой структуре романа [...] Его подчеркнутая трактатность — не только лабораторный эксперимент высококвалифицированного мастера, но и определенный этап на пути к овладению трудным жанром идеологического романа»⁵⁰. Ведь ни Бахтин, ни Пумпянский не последовали, по примеру иных, ни одной из этих возможностей, хотя и они вроде бы отказались от «башни».

И высшее проявление трагически недоуменного мотива представляет вторая сюжетная завершенность судьбы Тептелкина — в послесловии автора издания 1928 г.: не идея башни была плоха, а Тептелкин ее недостоин, он стал глупым чиновником, кричащим на подчиненных. И если в первом сюжетном варианте лектор Тептелкин, пишущий социальные перевороты, по ночам, вспоминая, читает свой труд, то во втором варианте происходит гибель личности как таковой, забвение личности, предательство идей юности, то есть Тептелкин не просто становится частью современности, он становится наиболее дурной и презираемой ее частью.

Существовал ли этот трагический мотив для Невельской школы, сознавали ли ее представители, что они предали свое, и если да, то насколько? В разговоре с С.Г. Бочаровым 21 ноября 1974 г. Бах-

⁵⁰ Сергиевский И. К. Вагинов. Козлиная песнь [рец.] // Новый мир. 1928. № 11. С. 284–285.

тин говорит именно о предательстве: «[...] Мы ведь все предали — родину, культуру». — «А как можно было не предать?» — «Погибнуть. Я тогда же начал писать статью “О непогибших”. Статью ненаучную. Конечно, не кончил и, конечно, потом уничтожил». Затем С.Г. Бочаров поясняет: «Статья была “ненаучная”, видимо, публицистическая; мы таких у Бахтина не знаем. Видимо, созвучная вагиновской “Козлиной песни” — это ведь как раз роман о “непогибших”. О трагедии тонкой интеллигенции в те самые годы, которая (трагедия) — “козлиная песнь”»⁵¹. Таким образом, Вагинов достаточно достоверно раскрывает все пространство имевшихся возможностей. Кроме того, нам известно, что в 1927–1928 гг. кружок перестает существовать, а Бахтин и Пумпянский начинают во второй половине 1920-х гг. выпускать книги и статьи, резко отличающиеся от того, что они писали ранее. Особенно отчетливо это видно у Пумпянского, достаточно сравнить статью о Тютчеве 1928 г. и статью о Тургеневе 1929–1930 гг. Более того, они перестают писать даже для себя так, как делали ранее. Единственным исключением у Бахтина стали его наброски первой половины 1940-х гг. Все работы у того и другого написаны по-новому и в связи с конкретным внешним поводом. Однако во всех этих книгах и статьях в трансформированном виде присутствует терминология и проблематика ранних работ. Более того, эти поздние работы совершенно нельзя понять без ранних, ибо в них-то и зародились и эта терминология, и эта проблематика. Итак, можно говорить о единстве при изменении. И даже М.И. Каган, живший в Москве, единственную нам известную позднюю работу «Недоуменные мотивы в творчестве Пушкина» пишет по-новому, но терминология этой работы, вероятно, предназначенной для печати, становится ясной только при учете его ранних работ.

Причем как распад Невельского кружка нельзя объяснить только внешними причинами, так и изменение в характере новых книг и статей столь же мало связаны с ними, ибо тогда не было бы смысла упорно сохранять прежнюю терминологию и проблематику. Скорее, этот новый характер работ представителей Невельской школы связан с изменением самих, так сказать, ментальных структур эпохи.

Об этом изменении и свидетельствует следующий пассаж из романа КП, где Тептелкин осознает, что его отношение к культуре — а ведь он тот же, что и на башне, он страдает из-за разрушения башни — ничем не отличается от отношения к ней всех иных граждан, то есть они все равны перед ней (КП: 137). Это завершение первого сюжета для Тептелкина содержит не менее страшное открытие истины о себе, чем трагическое недоумение во втором.

⁵¹ Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999. С. 492–493.

Более того, один из тех, кто прежде был в окружающем «догматическом море» — Кандайкин, и пристраивает Тептелкина к культуре.

Это свидетельство показывает, что в середине 1920-х гг. Вагинов, а значит и участники Невельского кружка почувствовали — и, возможно, прежде всего в силу характерного для кружка отрыва от всех предшествующих метафизических и позитивистских истолкований культуры, — сдвиг, происходящий с тем местом, которое занимает интеллигенция, в эпоху массовых идеологий (или массовой культуры): явление, для которого в XIX в. предпосылки еще только складывались и которое в XX в. характеризует сплошь все общество. На фоне происходящего сдвига деятельность Невельского кружка должна была выглядеть анахронизмом и его члены это осознавали.

Этот сдвиг места, занимаемого интеллигенцией в культуре, еще едва намечавшийся в 1920-е гг., М.К. Мамардашвили характеризует как утрату интеллигенцией права на принадлежащую исключительно ей способность суждения об обществе и путях его развития и как обретение интеллигенцией единственного назначения — обслуживание массовых идеологий (или массовой культуры). И только те люди относятся к интеллигенции, которые участвуют в разработке массовых идеологий и их обслуживании. Любые единичные попытки это оспорить следует рассматривать как проявление романтического бунта⁵².

Поскольку массовая культура (или массовая идеология) принципиально безлична, анонимна, то есть для ее потока не важна личность высказывающегося, то вполне возможно, как это и делал Бахтин, публиковать тексты под именами друзей. Поскольку массовая культура (или массовая идеология) требует и принимает тексты только на ее языке, то это и осуществлял Бахтин, критикуя вульгарный социологизм на языке напостовцев, фрейдизм на языке Фрейда, а формальную школу на языке формалистов. Но в каждой такой критике он придает этому языку такое измерение, такую акцентированность, которая может быть только бахтинской. Вот почему бессмысленно искать в этих книгах и статьях бахтинское и не его. Более того, эта вынужденная критика, с помощью которой Бахтин выявлял ограниченность этих массовых идеологических явлений — а последователей каждого из критикуемых им явлений множество — в свою очередь раскрывала все возможное пространство современного мышления.

Поскольку массовая идеология — это предельная форма общественного сознания, то именно оно и становится объектом исследования у Бахтина, например, в «Марксизме и философии языка». Бо-

⁵² *Мамардашвили М.К.* Интеллигенция в современном обществе // Проблемы рабочего движения. М., 1968. С. 421–430.

лее того, эта новая проблематика приводит и к выработке нового языка анализа — в «Проблемах творчества Достоевского» (1929). И этот язык становится основным для всего последующего творчества Бахтина. Здесь Бахтин, буквально в течение нескольких лет изменивший свой язык, находит и адекватное определение форме этого сознания — полифония голосов, диалог голосов. И тем самым находит ответ — каждый голос имеет право на существование. Но и сознание каждой личности есть также полифония языков. Впоследствии этот тезис был развит в диалог внутренних хронотопов. А в результате анализа массовой идеологии в книге «Творчество Франсуа Рабле» Бахтин показал, что и общественное сознание — это тоже полифония языков. Причем в последние годы Бахтин настаивал на этическом значении каждого голоса, его ценности. Таким образом, отказ от прежнего, пусть и вынужденный, привел к освоению совершенно новой проблематики, и все труды Бахтина и являются сами по себе грандиозным воплощением современного гуманитарного сознания XX в.

Однако в 1920-е гг. осознание этой проблематики происходило, вероятно, крайне мучительно, в пределах антиномий, данных в романе, где Вагинов лишь пунктиром намечает все эти возможности, в частности, касающиеся массовой идеологии и места интеллигенции.

Но возможность выхода из этой ситуации уже была предположена критической работой конца 1910-х — начала 1920-х гг. Поэтому всплеск новой проблематики выразился в модификации языка, хотя, наверно, и с некоторыми неизбежными потерями. Во всяком случае, Бахтин и Пумпянский как бы забыли 1920-е годы, ибо отказ от прошлого все же был.

Таким образом, роман КП является одним из важнейших идеологических романов XX века, романом, которому более всего противопоставлена однозначность истолкования.

1986, 2015

Литература

Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. М.: Языки русской культуры, 1999. 632 с.

Брагинская Н.В. Славянское возрождение античности // Русская теория 1920–1930-х гг.: Материалы Десятых Лотмановских чтений. М.: РГГУ, 2004. С. 49–80.

Вагинов К.К. Полн. собр. соч. в прозе. СПб.: Академический проект, 1999. 590 с.

Каган М.И. О ходе истории. М.: Языки славянской культуры, 2004. 704 с.

Васильев А.Н. Аристид Иванович Доватур: Документальное наследие ученого в архиве Санкт-Петербургского филиала Института российской истории РАН. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. 176 с.

Гаврилов А.К. О филологах и филологии: Статьи и выступления разных лет. СПб.: Издательство СПбГУ, 2011. 380 с.

Горфункель А.Х. Поэма П.-А. Мандзолли «Зодиак жизни» в фондах ГПБ // Исследование памятников письменной культуры в собраниях и архивах отдела рукописей и редких книг. Л., 1985. С. С. 132–139.

Иванов Вяч. Вс. Избр. труды по семиотике и истории культуры. Т. 2: Статьи о русской литературе. М.: Языки русской культуры, 2000. 880 с.

Каган Ю.М. О старых бумагах из семейного архива (М.М. Бахтин и М.И. Каган) // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1992. № 1. С. 60–68.

Кожин В., Конкин С. Михаил Михайлович Бахтин. Краткий очерк жизни и деятельности // Проблемы поэтики и истории литературы. Сб. ст. Саранск, 1973. С. 5–15.

Лисов А.Г., Трусова Е.Г. Реплика по поводу автобиографического мифотворчества Бахтина (Новая находка в фондах Витебского архива) // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1996. № 3. С. 161–166.

М.М. Бахтин: Беседы с В.Д. Дувакиным. М.: Согласие, 2002. 432 с.

Михаил Кузмин и русская культура XX века: Тезисы и материалы конференции 15–17 мая 1990 г. Л.: б.и., 1990. 260 с.

Николаев Н.И. Издание наследия Бахтина как филологическая проблема. (Две рецензии) // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1998. № 3. С. 114–157.

Николаев Н.И. Судьба идеи Третьего Возрождения // MOYSEION: Профессору Александру Иосифовичу Зайцеву ко дню семидесятилетия. Сб. ст. СПб., 1997. С. 343–350.

Николаев Н.И. М.М. Бахтин, Невельская школа философии и культурная история 1920-х годов // Бахтинский сборник. М., 2004. Вып. 5. С. 210–280.

Николаев Н.И. Идея Третьего Возрождения и Вяч. Иванов периода Башни // Башня Вячеслава Иванова и культура Серебряного века. СПб., 2006. С. 226–234.

Никольская Т.Л. Н. Гумилев и П. Лукницкий в романе К. Вагинова «Козлиная песнь» // Николай Гумилев: Исследования и материалы. Библиография. СПб.: Наука, 1994. С. 620–625.

Паньков Н.А. Загадки раннего периода (Еще несколько штрихов к «Биографии М.М. Бахтина») // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1993. № 1 (2). С. 74–89.

Паньков Н.А. Вопросы биографии и научного творчества М.М. Бахтина. М.: Издательство МГУ, 2010. 720 с.

Пушпянский Л.В. Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы / Изд. подгот. Н.И. Николаев. М.: Языки русской культуры, 2000. 864 с.

Ревзина О.Г. [Заседание Лингвистического объединения при Лаборатории вычислительной лингвистики МГУ, посвященное 75-летию со дня рождения М.М. Бахтина. Обзор] // Вопросы языкознания. 1971. № 2. С. 160–162.

Хоружий С.С. Трансформации славянофильской идеи в XX веке // Вопр. философии. 1994. № 11. С. 52–62.

Чудакова М.О., Тоддес Е.А. Прототипы одного романа // Альманах библиофила. М.: Книга, 1981. Вып. X. С. 172–192.

Чуковский К.И. Дневник, 1901–1929. М.: Советский писатель, 1991. 544 с.

Чуковский Н.К. Литературные воспоминания. М.: Советский писатель, 1989. 336 с.

Эджертон В. Ю.Г. Оксман, М.И. Лопатто, Н.М. Бахтин и вопрос о книгоиздательстве «Омфалос» (Перепiska и встреча с М.И. Лопатто) // *Lonanno M.I.* Я не гость, не хозяин — лишь имя... Стихотворения. Проза. Письма. Pisa–Москва: Водолей, Università di Pisa, 2015. С. 401–423.

References

Bocharov S.G. *Siuzhety russkoi literatury*. Moscow: lazyki russkoi kul'tury publ., 1999. 632 p.

Braginskaia N.V. "Slavianskoe vrozozhdenie antichnosti". *Russkaia teoriia 1920–1930-kh gg.: Materialy Desiatykh Lotmanovskikh chtenii*. Moscow: RGGU publ., 2004. P. 49–80.
 Chudakova M.O., Toddes E.A. "Prototipy odnogo romana". *Al'manakh bibliofila*. Moscow: Kniga publ., 1981. Issue X. P. 172–192.

Chukovsky K.I. *Dnevnik, 1901–1929*. Moscow: Sovetsky pisatel' publ., 1991. 544 p.

Chukovsky N.K. *Literaturnye vospominania*. Moscow: Sovetskii pisatel' publ., 1989. 336 p.

Edzherton V. Iu.G. Oksman, M.I. Lopatto, "N.M. Bakhtin i vopros o knigoizdatel'stve 'Omfalos' (Perepiska i vstrecha s M.I. Lopatto)". In Lopatto M.I. *Ia ne gost', ne khoziain — lish' imia...* *Stikhotvoreniiia. Proza. Pis'ma*. Pisa–Moskva: Vodolei publ.; Università di Pisa, 2015. P. 401–423.

Gavrilov A. K. *O filologakh i filologii: Stat'i i vystupleniia raznykh let*. St.-Petersburg: Izdatel'stvo SPbGU publ., 2011. 380 p.

Gorfunkel' A.Kh. "Poema P.-A. Mandzoli *Zodiak zhizni v fondakh GPB*". *Issledovanie pamiatnikov pis'mennoi kul'tury v sobraniiax i arkhivakh otdela rukopisei i redkikh knig*. Leningrad, 1985. P. 132–139.

Ivanov Viacheslav Vs. *Izbrannye trudy po semiotike i istorii kul'tury*. Vol.2: Stat'i o russkoi literature. Moscow: Iazyki russkoi kul'tury publ., 2000. 880 p.

Kagan M.I. *O khode istorii*. Moscow: Iazyki slavianskoi kul'tury publ., 2004. 704 p.

Kagan Iu.M. "O starykh bumagakh iz semeinogo arkhiva (M.M. Bakhtin i M.I. Kagan)". *Dialog. Karnaval. Khronotop*. 1992. № 1. P. 60–68.

Khoruzhy S.S. "Transformatsii slavianofil'skoi idei v XX veke". *Voprosy filosofii*. 1994. № 11. P. 52–62.

Kozhinov V., Konkin S. "Mikhail Mikhailovich Bakhtin. Kratkii ocherk zhizni i deiatel'nosti". *Problemy poetiki i istorii literatury. Sbornik statei*. Saransk, 1973. P. 5–15.

Lisov A.G., Trusova E.G. "Replika po povodu avtobiograficheskogo mifotvorchestva Bakhtina (Novaia nakhodka v fondakh Vitebskogo arkhiva)". *Dialog. Karnaval. Khronotop*. 1996. № 3. P. 161–166.

M.M. Bakhtin: *Besedy s V. D. Duvakinym*. Moscow: Soglasie, 2002. 432 p.

Mikhail Kuzmin i russkaia kul'tura XX veka: *Tezisy i materialy konferentsii 15–17 maia 1990 g.* Leningrad: b.i., 1990. 260 p.

Nikolaev N.I. "Izdanie naslediiia Bakhtina kak filologicheskaiia problema. (Dve retsenzii)". *Dialog. Karnaval. Khronotop*. 1998. № 3. P. 114–157.

Nikolaev N.I. "M.M. Bakhtin, Nevel'skaia shkola filosofii i kul'turnaia istoriia 1920-kh godov". *Bakhtinskii sbornik*. Moscow, 2004. Issue 5. P. 210–280.

Nikolaev N.I. "Ideia Tret'ego Vozrozhdeniia i Viach. Ivanov perioda Bashni". *Bashnia Viacheslava Ivanova i kul'tura Serebrianaogo veka*. St.-Petersburg, 2006. P. 226–234.

Nikolaev N. I. "Sud'ba idei Tret'ego Vozrozhdeniia". *MOYSEION: Professoru Aleksandru Iosifovichu Zaitsevu ko dniu semidesiatiletia. Sbornik statei*. St.-Petersburg, 1997. P. 343–350.

Nikol'skaia T.L. N. "Gumilev i P. Luknitskii v romane K. Vaginova *Kozlinaia pesn'*". *Nikolai Gumilev: Issledovaniia i materialy. Bibliografiia*. St.-Petersburg: Nauka publ., 1994. P. 620–625.

Pan'kov N.A. "Zagadki rannego perioda (Eshche neskol'ko shtrikhov k *Biografii M.M. Bakhtina*)". *Dialog. Karnaval. Khronotop*. 1993. № 1 (2). P. 74–89.

Pan'kov N.A. *Voprosy biografii i nauchnogo tvorchestva M.M. Bakhtina*. Moscow: Izdatel'stvo MGU publ., 2010. 720 p.

Pumpianskii L. V. *Klassicheskaiia traditsiia: Sbranie trudov po istorii russkoi literatury*, ed. N.I. Nikolaev. Moscow: Iazyki russkoi kul'tury publ., 2000. 864 p.

Revzina O.G. "[Zasedanie Lingvisticheskogo ob"edineniia pri Laboratorii vychislitel'noi lingvistiki MGU, posviashchennoe 75-letiiu so dnia rozhdeniia M.M. Bakhtina. Obzor]". *Voprosy iazykoznanii*. 1971. № 2. P. 160–162.

Vaginov K.K. *Polnoe sobranie sochineniy v proze*. St.-Petersburg: Akademicheskii proekt publ., 1999. 590 p.

Vasil'ev A.N. *Aristid Ivanovich Dovatur: Dokumental'noe nasledie uchenogo v arkhive Sankt-Peterburgskogo filiala Instituta rossiiskoi istorii RAN*. St.-Petersburg: Dmitry Bulanin publ., 2000. 176 p.

Teptelkin and Others in Konstantin Vaginov's "Satyr Chorus"

N.I. Nikolaev

Abstract: L.V. Pumpiansky and M.M. Bakhtin were K. Vaginov's inspiration for Teptelkin and the Philosopher — the characters of his novel "Satyr Chorus" (Leningrad, 1928); the novel is therefore considered an important source that helps to reconstruct the activity of the Nevel school of philosophy in Leningrad in the 1920's. These characters however do not fully coincide with their archetypes. This discrepancy is due to the poetics of the novel as well as its general concept.

Keywords: K. Vaginov, Russian literature of the 1920's, archetype, L.V. Pumpiansky, M.M. Bakhtin.

Information about the author: Nikolay I. Nikolaev, chief librarian in the rare book and manuscript section of the St.-Petersburg State University Scholarly Library. E-mail: n.nikolaew@spbu.ru